

“ВОЗРОЖДЕНИЕ МОСКОВИИ” В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ ПОРЕФОРМЕННОЙ РОССИИ

© 2006 О.Б. Леонтьева

Поволжский филиал Института российской истории РАН, г. Самара

В статье предпринята попытка реконструкции исторических представлений и “образов прошлого”, существовавших в исторической памяти российского общества второй половины XIX века. Согласно авторской аргументации, образованная элита пореформенной эпохи воспринимала Московскую Русь как колыбель национальной идентичности; XVI-XVII века представлялись своеобразным “архетипическим временем” российской истории, обращаясь к которому, мыслители последней трети XIX века искали ответы на “проклятые вопросы” современной им России.

Подобно тому, как личностное самосознание человека немислимо без индивидуальной памяти, так и самосознание общества, его самоидентификация невозможны без знаний о прошлом и образов прошлого, живущих в исторической памяти общества. Именно поэтому изучение исторической памяти, - ее содержания и смыслового наполнения, способов хранения и пробуждения к жизни, тех многочисленных функций, которые она выполняет в культурной жизни общества, - стало в настоящее время одной из самых актуальных и достаточно сложных проблем современной исторической науки [20; 24; 25; 26; 34; 35; 36].

Как и память личная, историческая память носит избирательный и творческий характер; формы интерпретации прошлого и смысловые акценты, которые ставятся в историческом повествовании, определяются нормами и ценностями современной культуры. Прошлое может выступать в общественном сознании как “прекрасное прошлое”, как некий “потерянный рай”; в таком случае “придумывание памяти” [33. С.368] может стать разновидностью эскапизма, способом уйти от переживаний сегодняшнего дня. Прошлое может восприниматься и как “проклятое прошлое”, как травмирующий опыт; вопрос “как такое стало возможным?” может оказаться трудным для общественного сознания, и в таком случае для культуры жизненно важно выработать тот или иной компен-

саторный механизм, позволяющий преодолеть трагический опыт, не отворачиваясь от мучительных воспоминаний [43].

Особенно актуальной становится проблема отношения к прошлому в исторической памяти, если общество проходит через период серьезных социокультурных перемен, период трансформации, ломки традиционных стандартов и стереотипов мышления, если в сознании людей сталкиваются и уживаются рядом несхожие, а подчас и противоположные ценностные системы. Как мы убедились по опыту последних двух десятилетий, смысл любого исторического события и значение деятельности любого исторического персонажа может подвергнуться радикальному переосмыслению даже на протяжении жизни одного и того же поколения. Более того: в коллективной памяти могут одновременно уживаться различные образы прошлого и способы повествования о прошлом; в каждом из таких повествований могут присутствовать одни и те же опорные моменты, персонажи, сюжетные эпизоды, но смысловое наполнение этих сюжетов будет различным. В таких ситуациях, по словам А.Эткинда, “борьба за содержание исторической памяти подобна театру военных действий, на котором совершаются стратегические и тактические акции, выполняемые разными силами и средствами” [39. С.46].

В силу этого реконструкция исторических представлений и “образов прошлого”,

существовавших в памяти той или иной эпохи, представляет собой благодатное поле для исследований, поскольку позволяет нам “изнутри” понять мир культурных предпочтений и ценностных конфликтов не только “вспоминавшегося” времени, но и – главным образом – времени “вспоминавшего”.

Для России вторая половина XIX века была временем стремительных социальных перемен. Этот период вместил в себя закат крепостничества и Великие реформы 1860-1870-х годов; бескомпромиссную войну революционеров-народников с императорской властью – и попытку консервативных контрреформ, “подмораживания” страны в правление Александра III. Неудивительно поэтому, что пореформенная эпоха была отмечена повышенным интересом образованного общества к истории, к историческим сюжетам: рефлексия над пройденным историческим путем должна была помочь преодолеть кризис идентичности, определить исторические перспективы. В прошлом своей страны видели ключ к пониманию ее настоящего.

Обращает на себя внимание, что особый интерес у деятелей русской культуры пореформенной эпохи вызывала далекая и непохожая на современность Московская Русь XVI-XVII вв., Московия, как называли ее иноземные путешественники. Этот интерес проявлялся в самых разных сферах: образы Московии представали перед зрителем на исторических полотнах В.Г.Шварца и К.Е.Маковского, В.В.Сурикова и И.Е.Репина, в научно-популярных трудах И.Е.Забелина и Н.И.Костомарова, М.И.Семевского и П.И.Мельникова-Печерского; в романах Д.Л.Мордовцева, в исторических драмах А.К.Толстого и А.Н.Островского, в операх М.П.Мусоргского и Н.К.Римского-Корсакова. С конца 1850-х гг., после отмены ряда ограничительных и запретительных указов, в церковной и светской архитектуре утвердился “псевдорусский” или “московский” стиль, представлявший собой имитацию зодчества XVII века; “узорочье” в стиле XVII века широко применялось в книгоиздательском и рекламном деле; в стиле допетровской Руси декорировали столовые в домах аристократов

и нуворишей; наконец, на знаменитый Зимний бал 1903 г. при дворе Николая II все гости обязаны были явиться в костюмах XVII века, да и сам последний император охотно позировал перед фотографами в золототканых одеждах, венце и бармах Мономаха. Используя термин, предложенный Р.Уортманом [32. С.322-369], можно говорить о своеобразном феномене “воскрешения Московии” в условиях пореформенной России: как нам представляется, “московский стиль” во второй половине XIX века явно имел шансы стать “большим стилем” эпохи, объединяющим самые разнообразные виды искусств.

Невольно возникает вопрос: почему именно сюжеты из отечественной истории XVI-XVII веков были так востребованы общественным сознанием пореформенной эпохи? На какие вопросы стремились получить ответ люди второй половины XIX века, переносясь мыслью и чувствами в далекую Московию?..

Безусловно, интерес к эпохе Московского царства был формой поиска национальных корней и национальной идентичности [3. С.475-488]; XVI-XVII века привлекали внимание историков и художников как период, когда в русской культуре *уже* отсутствовало византийское влияние, и *еще* отсутствовало влияние западноевропейское. “Кто из нас не любит тех времен, *когда русские были русскими*, когда они в собственное свое платье наряжались, ходили своею походкою, жили по своему обычаю, говорили своим языком и по своему сердцу, то есть говорили, как думали?” – задавался риторическим вопросом Н.М.Карамзин в сентиментально-идиллической повести из времен допетровской Руси “Наталья, боярская дочь” [9. С.38. Курсив мой. – О.Л.]. Под этими словами Карамзина на протяжении XIX века могли бы подписаться многие поборники возвращения к национальным традициям в культуре. Так, В.В.Стасов – ведущий российский идеолог реалистического и национального искусства пореформенной эпохи – был убежден, что именно в эпоху Московской Руси выработался яркий и неповторимый русский стиль, “составилась наша своеобразная национальная

физиономия” [28. Стб.553]. Это убеждение он передал своим многочисленным “подопечным” из “Могучей кучки” и “Товарищества передвижников”, часто черпавших вдохновение и в сюжетах из истории и быта допетровской Руси, и в ее художественном стиле. Такой поиск исторических корней в XIX веке был общеевропейским явлением, симптомом национального пробуждения [1; 42].

Но для представителей российской интеллектуальной элиты XIX века важна была не только самобытность как таковая. В культуре Московской Руси – согласно их представлениям – не существовало непроходимой культурной пропасти между высшими и низшими социальными слоями. Так, И.Е.Забелин в работе “Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях” (1862 г.) подчеркивал, что, “несмотря, однако ж, на расстояние, которое отделило каждого земца от “пресветлого царского величества”, ...великий государь, при всей высоте политического значения, на волос не удалился от народных корней... Одни и те же понятия и даже уровень образования, одни привычки, вкусы, обычаи, домашние порядки, предания и верования, одни нравы, – вот что равняло быт государя не только с боярским, но и вообще с крестьянским бытом” [6. С.4]. Ту же тему развивал В.О.Ключевский в своем знаменитом лекционном курсе: “русское общество [XVII века] отличалось однородностью, цельностью своего нравственно-религиозного состава. При всем различии общественных положений древнерусские люди по своему духовному облику были очень похожи друг на друга, утоляли свои духовные потребности из одних и тех же источников. Боярин и холоп, грамотей и безграмотный... твердили один и тот же катехизис, в положенное время одинаково легкомысленно грешили и с одинаковым страхом Божиим приступали к покаянию и причащению до ближайшего разрешения “на вся”. Такие однообразные изгибы автоматической совести помогали древнерусским людям хорошо понимать друг друга, составлять однородную нравственную массу, устанавливали между ними некоторое духовное согласие вопреки социальной роз-

ни и делали сменяющиеся поколения периодическим повторением раз установившегося типа” [11. С.451].

Важность этой характеристики становится понятной, если вспомнить, что на протяжении всего XIX века одной из самых болезненных проблем русского общества считался культурный раскол, со времен Петра I разделявший образованное общество – европеизированных “иностранцев дома, иностранцев на чужбине”, – и простой народ, крестьянство, сохранившее традиционные устои старинной русской жизни. Говоря о целостном русском обществе XVI-XVII веков, спаянном единством ценностей и норм поведения, историки и публицисты противопоставляли его послепетровскому обществу, расколотому и страдающему от внутренних противоречий.

Таким образом, важнейшими характеристиками Московской Руси в восприятии образованных россиян XIX века были национальная самобытность и внутренняя цельность культуры. А, следовательно, глядя в “зеркало” Московии, можно было понять, что представляет собой русский народ по сути своей, каковы его определяющие качества. Именно поэтому в шедеврах русского искусства пореформенной эпохи – в эпической музыкальной драме М.П.Мусоргского, “хоровых” исторических полотнах В.В.Сурикова, – эпоха Московского царства представала как своеобразное архетипическое время русской истории, как особый хронотоп. “Время в этом хронотопе спрессовывает прошлое и настоящее: прошлое является... собственно не прошлым, а расширенной вдаль от нас жизнью, то есть уже не “ТАК БЫЛО”, а “ТАК БЫВАЕТ” (прошедшее – настоящее, перфектум)” [4. С.117]. События истории Московского царства, – будь то правление Ивана Грозного или Смута, стрельецкие и казачьи бунты или же начало петровских реформ, – трактовались в культуре пореформенной России как символы, архетипы, обращение к которым позволяет понять сокровенную сущность души русского народа и смысл его истории.

В частности, именно обращение к истории Московской Руси позволяло с предельной остротой поставить в культуре порефор-

менной России проблему взаимоотношений народа и власти. Образы московских царей XVI-XVII вв. – в особенности Ивана Грозного и Бориса Годунова, – получили вторую жизнь в исторических драмах Л.А.Мея и А.К. Толстого, в исторической опере М.П.Мусоргского и Н.К.Римского-Корсакова, в исторической живописи В.Г.Шварца, И.Е.Репина, В.М.Васнецова; вокруг каждого из этих образов стремительно формировался определенный исторический миф (под мифом мы понимаем образно-символическое представление о прошлом, вне зависимости от того, соответствует ли его содержание историческим реалиям или является заведомо ложным).

Так, образ Ивана Грозного слагался в художественных произведениях той эпохи прежде всего как образ-архетип деспота. Явную семантическую нагрузку несла в этом плане такая выразительная атрибутивная деталь образа, как царский жезл-посох с железным наконечником (у А.К.Толстого, М.М.Антокольского, И.Е.Репина и др.). Жезл – символ монаршей власти, превращавшийся в руках грозного царя в орудие пытки и убийства, – стал метафорическим образом правления Ивана IV; этот выбор был тем более удачен, что мог пробудить у читателя библейские аллюзии (Откр. 19: 15). Важно отметить, что стержневой темой художественных произведений, посвященных Ивану Грозному в пореформенную эпоху, стала тема детоубийства; и что никто из авторов, обращавшихся к этой теме (А.К.Толстой, В.Г.Шварц, И.Е.Репин и др.), не пытался изобразить гибель наследника престола как результат конфликта личностей или конфликта убеждений: для формирования исторического мифа существенной представлялась именно немотивированность сыноубийства, совершенного деспотом, дошедшего тем самым “до предела во зле” [10. С.439].

Образ царя-детоубийцы (явно перекликавшийся с мифом о Кроносе) в контексте пореформенной культуры приобретал актуальное политическое содержание: деспот убивает своих детей, деспотизм губит будущее. Едва ли можно считать случайным совпадением, что в культуре пореформенной

эпохи оказался востребованным образ еще одного “преступного царя” Московии – Бориса Годунова (в драматической трилогии А.К.Толстого, в прославленной опере М.П.Мусоргского по драме А.С.Пушкина), и что его образ опять-таки был неразрывно связан с сюжетом детоубийства. По сути дела, обращение к образам венценосных правителей Московии для русской культуры пореформенной эпохи было попыткой художественными средствами ответить на вопрос о том, где пролегают границы, предел самодержавной (то есть внешне неограниченной) власти. Ответ современников реформ был единодушен: если власть переступает нравственные границы, то самой страшной и неизбежной карой для нее становятся не козни врагов и не протест подданных, но муки собственной большой совести преступного правителя.

Но обращение к проблеме деспотизма ставило перед творцом и перед его аудиторией и другие, не менее мучительные нравственные проблемы. Если Н.М.Карамзин в свое время считал знаменитое “народное безмолвие” достойным и адекватным ответом на жестокость власти (при Иване Грозном народная добродетель, с гордостью писал он, “даже не усумнилась в выборе между гибелью и сопротивлением”) [8. С.25], то в эпоху Великих реформ народное долготерпение служило уже не предметом гордости, но скорее поводом для весьма невеселых раздумий (вспомним некрасовские “Размышления у парадного подъезда”). Как писал А.К.Толстой в предисловии к роману “Князь Серебряный”, “при чтении источников книга не раз выпадала у него из рук и он бросал перо в негодовании, не столько от мысли, что мог существовать Иоанн IV, сколько от той, что могло существовать такое общество, которое смотрело на него без негодования” [31. С.75]. Н.И.Костомаров с не меньшей горечью размышлял о том, что кровавые эксцессы правления Грозного были возможны только в силу “рабского бессмысленного страха и терпения” подданных, и что “московские люди, даже лучшие, были слуги, а не граждане” [14. С.522-523].

(Интересно, что деятели культуры пореформенной эпохи подчас объясняли деспотизм правителей Московской Руси и раболепие их подданных “азиатским”, татарским влиянием; эталоном подлинно русского национального духа выступала в таком случае не Московская, а Киевская Русь, а Московское царство – “татарская Русь” –представало как искажение национальной природы и измена народным демократическим традициям) [7. С.203, 211, 229; 30. С. 248-254, 297-298; 15. С.495-503, 511, 555; 21. С.60-65].

Для общественного сознания XIX века – века национальных движений и веры в демократию, – народ заслуживал гордого имени народа лишь в том случае, если он был способен на осознанное коллективное действие в защиту своих идеалов. Поэтому сложившийся в исторической памяти пореформенной эпохи образ “преступных царей” необходимо было уравновесить – и в плане художественном, и в плане идейном, – столь же яркими образами народного действия и народных героев.

Такую компенсаторную функцию в исторической памяти эпохи Великих реформ сыграло, на наш взгляд, обращение к истории церковного раскола XVII века, порожденного никоновской реформой.

Именно в эпоху Великих реформ в русском обществе была прорвана завеса молчания вокруг преследуемых, социально и территориально изолированных приверженцев древнего православия. С момента публикации исторических исследований о Макария Булгакова “История русского раскола, известного под именем старообрядства” (1855) и А.П. Щапова “Русский раскол старообрядства” (1859) тема вызывала поистине шквальный интерес. Расколу и раскольникам посвящали научно-популярные исторические труды (“Исторические очерки поповщины” П.И. Мельникова-Печерского, 1867, и “История раскола у раскольников” Н.И.Костомарова, 1871), исторические романы (“Великий раскол” Д.Л.Мордовцева, 1880) и романы-эпопеи “из народного быта” (диалогия П.И. Мельникова-Печерского “В лесах” и “На горах”, 1871-1881), живописные полотна

(“Никита Пустосвят” В.Г.Перова, 1880-1881; “Черный собор” С.Д.Милорадовича и “Патриарх Никон перед судом” Н. В. Неврева, 1885; и, разумеется, знаменитая “Боярыня Морозова” В.И.Сурикова, 1887) и оперы (“Хованщина” М.П.Мусоргского, 1872-1881). Практически все эти произведения были проникнуты самым искренним сочувствием к раскольникам, а протопоп Аввакум и боярыня Морозова в общественном мнении последней трети XIX века были единодушно возведены в ранг самых ярких личностей российской истории, героев “с великими, шекспировскими характерами” [17. С.411].

Сочувствие и сопереживание раскольникам объединяло самые разные направления пореформенной общественной мысли. Так, с точки зрения идеалов национально-культурного возрождения раскольники-старообрядцы представлялись хранителями заветов подлинной, народной Руси, не искаженной веяниями “петровской неметчины”. Явственно звучал этот лейтмотив, например, в знаменитой эпической диалогии П.И.Мельникова-Печерского о заволжских старообрядцах: “Старая там Русь, исконная, кондовая. С той поры как зачиналась земля Русская, там чуждых насельников не бывало. Там Русь сыстари на чистоте стоит, - какова была при прадедах, такова хранится до наших дней” [16. С.3-4]. Раскольничья и стрелецкая допетровская Русь была воспета и оплакана в “Хованщине” М.П.Мусоргского; символично, что в этой опере тема увертюры “Рассвет на Москве-реке”, идеально-прекрасного образа утраченной старины, интонационно и мелодически перекликается с финальным хором раскольников, идущих на самопожжение [2. С.175] (“самопожжение древней, погибающей России”, как интерпретировал эту сцену Стасов) [27. С.231]. “Невзирая на весь осадок нелепости, закоренелой темноты и дикости..., - восклицал Стасов, анализируя “раскольничью” тематику в творчестве Перова и Мусоргского, – сколько чудесного, могучего, чистого и искреннего было все-таки на стороне этой Руси... и как права она была в своем праве, отстаивая свою старую жизнь и зубами, и когтями!” [29. Стб.267].

Но и народническая интеллигенция, придерживавшаяся “левых” политических убеждений, тоже сочувствовала раскольникам. Это представляется тем более удивительным, что сами по себе религиозные идеалы и апокалиптические чаяния “расколуучителей” не могли вызывать особенного сочувствия у пореформенной российской интеллигенции, высоко ценившей критическую мысль и научное знание.

В трудах историков, литераторов и публицистов демократического направления – А.П.Щапова, Н.И.Костомарова, А.Н.Пыпина, Д.Л.Мордовцева и других, – буквально на соседних страницах уживались противоположные оценки раскола. С одной стороны, раскол представлялся им типично “средневековым” явлением, порождением исступленного фанатизма в сочетании со “скудным просвещением” и “национальным самомнением” [38. С.1-III, 35-55; 13. С.469-480; 22. С.271]. С другой стороны, с легкой руки А.П.Щапова и В.И.Кельсиева в русской общественной мысли утвердилось представление о расколе как о форме народной борьбы за демократические земские идеалы, как о “могучей, страшной общинной оппозиции податного земства, массы народной против всего государственного строя – церковного и гражданского” [37. С.28; 13. С.482-485; 23. С.240-241]. И наконец, безусловное сочувствие и понимание у пореформенной интеллигенции находила сама способность раскольников к сознательному самопожертвованию, к мученичеству во имя своих убеждений. Парадокс исторического сознания пореформенной эпохи состоял в том, что, отторгая “домостроевские”, “душные и темные идеалы” Московской Руси XVII столетия, народническая интеллигенция при этом восхищалась старообрядцами – “замечательными”, “удивительными” людьми, которые во имя этих “душных и темных идеалов” бестрепетно шли на смерть [5. С.424-430; 19. С.10-22, 40, 52-56, 143-145].

Раскол воспринимался в историческом сознании пореформенной эпохи как своеобразный “момент истины”, позволивший выявить истинное лицо русского человека, ге-

роя и мученика, способного встать на защиту своих идеалов, своих представлений о справедливости; а образ женщины-раскольницы, цельной, суровой и гордой, истовой в любви и ненависти, готовой к мученичеству во имя того, что ей дорого (Морозовой у Мордовцева и Сурикова, Марфы у Мусоргского, Манефы у Мельникова-Печерского) в пореформенном русском искусстве поднялся на высоту архетипа, символа исконной Руси. Как сформулировал Н.И.Костомаров, “в нашей истории раскол был едва ли не единственным явлением, когда русский народ, - не в отдельных личностях, а в целых массах, без руководства и побуждения со стороны власти или лиц, стоящих на степени высшей по образованию, показал своеобразную деятельность в области мысли и убеждения” [13. С.469].

Именно с этими историческими представлениями был связан интереснейший парадокс народнического движения, на который обратил внимание А.Эткинд: идя “в народ”, молодые революционеры-народники 1870-х годов зачастую стремились вести свою пропаганду именно среди раскольников и сектантов, воспринимая их как носителей бунтарского народного духа [40. P.565-588]. Подчас на этом пути их ожидало жестокое разочарование (о чем свидетельствуют их личные воспоминания) [18. С.254-255], но идеал раскольника – стойка и бунтаря – оставался незыблемым. Так, у В.Г.Короленко в знаменитой повести “Чудная” гордая и непримиримая девушка-народоволка, умирающая от туберкулеза в сибирской ссылке, сравнивалась с боярыней Морозовой: “Порода такая: сломать ее, говорит, можно... Вы и то уж сломали... Ну, а согнуть, – сам, чай, видел: не гнутся этакие” [12]. “Образы прошлого”, сформировавшиеся в исторической памяти общества, проецировались на принципиально иные исторические реалии; “тени прошлого” вызывались к жизни, чтобы стать участниками актуальных политических споров.

Таким образом, образованная элита последней трети XIX века воспринимала Московскую Русь как колыбель национальной идентичности; XVI-XVII века представлялись своеобразным “архетипическим време-

нем” российской истории – временем, обращаясь к которому, мыслители последней трети XIX века искали ответы на вопрос об “истоках” и “корнях” современных им проблем России.

В то же время образы Московской Руси в пореформенной культуре наделялись различным, а иногда и противоположным ценностным содержанием. В сознании просвещенного российского общества формировался амбивалентный образ Московской Руси: допетровская Русь интерпретировалась как кладезь самобытности, сокровищница цельных и ярких характеров, как источник “чистого” национального сознания; и одновременно – как “отсталое”, “азиатское” общество, страдающее от деспотизма и невежества, от недостатка просвещения и гуманизма. Эти изломы исторической памяти, в конечном итоге, отражали глубину внутренних расколов в сознании пореформенного российского общества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Андерсон Б.* Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма / Пер. с англ. М.: “Канон-Пресс-Ц”, “Кучково поле”, 2001
2. *Бакаева Г.* “Хованщина” М. Мусоргского – историческая народная музыкальная драма. Киев: Музична Украина, 1976.
3. *Биллингтон Дж. Х.* Икона и топор: Опыт истолкования истории русской культуры / Пер. с англ. М.: “Рудомино”, 2001.
4. *Бурлина Е.Я.* Культура и жанр. Методологические проблемы жанрового синтеза. Саратов, 1987.
5. *Гаршин В.М.* Сочинения. М.-Л.: Гос. изд-во худ. лит., 1963.
6. *Забелин И.Е.* Домашний быт русского народа в XVI и XVII столетиях. Т.1. Ч.1. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. М.: “Языки русской культуры”, 2000.
7. *Кавелин К.Д.* Наш умственный строй. М.: Правда, 1989.
8. *Карамзин Н.М.* Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношении. М., 1991.
9. *Карамзин Н.М.* Избранное: Повести и рассказы. Куйбышев: Книжн. изд-во, 1982.
10. *Карамзин Н.М.* История государства Российского. В 12 т. Т.9. СПб., 1821.
11. *Ключевский В.О.* Русская история. Полный курс лекций в трех книгах. М., 1993. Т.2.
12. *Короленко В.Г.* Чудная - http://az.lib.ru/k/korolenko_w_g/text_0010.shtml.
13. *Костомаров Н.И.* История раскола у раскольников // Вестник Европы. 1871. № 4. С.469-536.
14. *Костомаров Н.И.* Личность царя Ивана Васильевича Грозного // Вестник Европы. 1871. №10. С.499-571.
15. *Костомаров Н.И.* Начало единодержавия в Древней Руси // Вестник Европы. 1870. №12. С.495-563.
16. *Мельников-Печерский П.И.* В лесах. Роман в 2-х кн. Кн.1. М.: РИПОЛ, 1994.
17. *Мордовцев Д.Л.* Великий раскол // Мордовцев Д.Л. Соч. в 2 т. Т.1. М.: Худож. лит-ра, 1991.
18. *Морозов Н.А.* Повести моей жизни. Мемуары. Т.2. М.: Наука, 1965.
19. *Мякотин В.А.* Протопоп Аввакум. Его жизнь и деятельность [ЖЗЛ: Биографическая библиотека Ф.Павленкова]. СПб.: Типогр. о-ва “Общественная польза”, 1894.
20. *Образы прошлого и коллективная идентичность в Европе до начала Нового времени / Под ред. Л.П.Репиной.* М.: Кругъ, 2003
21. *Прыжов И.Г.* История кабаков в России. М.: “Дружба народов”, 1992.
22. *Пытин А.Н.* История русской литературы. Т.2. Древняя письменность. Времена Московского царства. Канун преобразования. СПб.: Типогр. М.М.Стасюлевича, 1898.
23. *Пытин А.Н.* Характеристики литературных мнений от двадцатых до пятидесятых годов. Исторические очерки // Вестник Европы. 1871. № 5. С.233-291.
24. *Репина Л.П.* Память и историописание // История и память: историческая культура Европы до начала Нового времени / Под ред. Л.П.Репиной. М., 2006. С.19-46

25. Рикёр П. Память, история, забвение / Пер. с франц. М., 2004.
26. Савельева И.М., Полетаев А.В. История и время: в поисках утраченного. М.: Языки русской культуры, 1997.
27. Стасов В.В. Избр. статьи о М.П.Мусоргском. М.: Гос. муз. издат., 1952.
28. Стасов В.В. Собр. соч. 1847-1886. Т.1: Художественные статьи. СПб.: Типогр. М.М.Стасюлевича, 1894.
29. Стасов В.В. Собр. соч. 1847-1886. Т.2: Художественные статьи. СПб.: Типогр. М.М.Стасюлевича, 1894.
30. Толстой А.К. Собр. соч.: в 4 т. Т.1. М.: Правда, 1969.
31. Толстой А.К. Собр. соч. в 4 т. Т.2: Художественная проза. М.: Правда, 1980.
32. Уортман Р. Сценарии власти: Мифы и церемонии русской монархии. Т.2. М.: ОГИ, 2004.
33. Успенский Б.А., Лотман Ю.М. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVII века) // Успенский Б.А. Избр. труды. Т.1. Семиотика истории. Семиотика культуры. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: "Языки русской культуры", 1996.
34. Феномен прошлого / Под ред. И.М.Савельевой, А.В.Полетаева. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005.
35. Хальбвакс М. Коллективная и историческая память. Часть I // Неприкосновенный запас. № 40-41 (2-3/2005).
36. Хаттон П. История как искусство памяти / Пер. с англ. СПб.: "Владимир Даль", 2003
37. Щанов А.П. Земство и раскол. Вып.1. СПб.: Типогр. "Общественная польза", 1862.
38. Щанов А.П. Русский раскол старообрядства, рассматриваемый в связи с внутренним состоянием русской церкви и гражданственности в XVII веке и в первой половине XVIII. Опыт исторического исследования о причинах происхождения и распространения русского раскола. Казань: Изд. Ивана Дубровина, 1859.
39. Эткнд А. Столетняя революция: юбилей начала и начало конца // Отечественные записки. 2004. № 5. С.40-54.
40. Etkind, Alexander. Whirling with the Other: Russian Populism and Religious Sects // The Russian Review 62 (October 2003). P.565-588.
41. Figes, Orlando. Natasha's Dance: A Cultural History of Russia. London: Penguin Books, 2003.
42. Hobsbawm E. Introduction: Inventing Traditions // The Invention of Tradition. Ed. by E.Hobsbaum, Terence Ranger. Cambridge, 2004.
43. Roth M. The Ironist's Cage. Memory, Trauma and the Construction of History. N.Y.: Columbia Univ. Press, 1995.

THE "RESURRECTION OF MUSCOVY" IN RUSSIAN HISTORICAL MEMORY AFTER THE GREAT REFORMS

© 2006 O.B. Leontieva

Volga Branch of Institute of Russian History of Russian Academy of Science, Samara

The article contains an attempt to reconstruct the historical representations and the "images of the Past" in the historical memory of Russian educated elite after the Great Reforms, in the second half of the XIX century. As the author argues, Muscovite Russia was a cradle of national identity from the point of view of Russian post-reformed culture; the XVI-XVII centuries were often taken in Russian historical memory as a kind of "archetypical times" where one could find answers to the "damned questions" of his/her own times.